



张翎
劳燕

**ЧЖАН
ЛИН**

ОДИННОЖИВАЯ
ЛАСТОЧКА

РОМАН

*Перевод с китайского
Ольги Кремлиной*



phantom press

Москва

УДК 821.581.11
ББК 84(5Кит)
Ч-57



张翎
劳燕

© 张翎, 2017

Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения владельца авторских прав.

Книга издана при содействии Литературного агентства Эндрю Нюрнберга и Asia Literary Agency

Перевод с китайского Ольги Кремлиной
Редактор Алина Перлова

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

Чжан Лин

Ч-57 Одинокая ласточка: Роман / Пер. с кит. О. Кремлиной. — М.: Фантом Пресс, 2025. — 424 с.

Эпический и одновременно интимный роман об опустошении, которое несет война, об искуплении и силе любви. В день, когда император Хирохито объявил о капитуляции Японии, тем самым поставив точку во Второй мировой войне, трое мужчин, охваченных ликованием, дали друг другу обещание однажды встретиться в этот же день в этом же месте. Но вскоре один из них умер, однако свое слово сдержал — призраком он приходил и ждал друзей. Лишь спустя семьдесят лет они встретятся втроем — после того, как в возрасте 94 лет умрет последний из троих. И все же одного человека не хватало на той встрече. Девушки, которую звали Ласточка и в которую был влюблен каждый из друзей. Через рассказы мужчин, которых так тронула эта девушка в беспощадные военные времена, жизнь Ласточки постепенно обретает плоть, сотканную из их воспоминаний. Ей пришлось пройти через боль и страдания, но она сохранила и достоинство, и чувство свободы и сумела объединить троих мужчин.

ISBN 978-5-86471-993-0

© Ольга Креплина, перевод, 2025
© Андрей Бондаренко, оформление, 2025
© "Фантом Пресс", издание, 2025

Содержание

УИЛЬЯМ ДЕ РУАЙБ-МАКМИЛЛАН,
ОН ЖЕ МАЙ ВЭЙЛИ, ОН ЖЕ БИЛЛИ —
ТАКЖЕ ИЗВЕСТНЫЙ ПОД ДРУГИМИ ИМЕНАМИ9

ИЭН ФЕРГЮСОН:
БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ, ХАКИ,
НЕЖДАННАЯ ГОСТЬЯ И ТАК ДАЛЕЕ31

ЛЮ ЧЖАОХУ:
ДЕРЕВНЯ СЫШИИБУ45

ПАСТОР БИЛЛИ:
ВОЛКИ ЯСУДЗИ ОКАМУРЫ95

ИЗ АРХИВОВ ВМС США:
ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА, 3 ШТ.136

ИЭН ФЕРГЮСОН:
ПЕС МАЙЛЗА152

ЛЮ ЧЖАОХУ:
ОКАЗЫВАЕТСЯ, СМЕРТЬ — ДЕЛО ТРУДНОЕ167

ИЭН ФЕРГЮСОН:
ПАРТИЯ, КОТОРУЮ, ПО СЛУХАМ, РАЗЫГРАЛ Я191

ПАСТОР БИЛЛИ: ПРЕВРАЩЕНИЕ ИЗ КУКОЛКИ В БАБОЧКУ	201
“АМЕРИКАН ИСТЕРН ГЕРАЛЬД”, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК В ЧЕСТЬ СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ. ПОРТРЕТНЫЙ ОЧЕРК: “РАССКАЗ О ГОРЯЧЕЙ КРОВИ”	218
ПРИЗРАК И МИЛЛИ: РАЗГОВОР ДВУХ СОБАК	254
ПАСТОР БИЛЛИ, ИЭН: МЕЖДУ “ДО СВИДАНИЯ” И “ПРОЩАЙ”	291
ЛЮ ЧЖАОХУ: БАРАХЛО ЧАН КАЙШИ	316
ПАСТОР БИЛЛИ: ИЗВИНЕНИЕ, КОТОРОЕ ЗАПОЗДАЛО НА СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ	372
ЛЮ ЧЖАОХУ: СЕКРЕТ В ФОРМЕ ВОЛНЫ	376
ИЭН ФЕРГЮСОН: ИСТОРИЯ О ПУГОВИЦЕ	406
ПАСТОР БИЛЛИ: ТО, ЧТО МЫ ЗАБРАЛИ, И ТО, ЧТО МЫ ОСТАВИЛИ. ПЕРЕЧЕНЬ	415
ПРИЛОЖЕНИЕ. “ШАНХАЙСКИЕ НОВОСТИ ОНЛАЙН”: “ПИСЬМО, ЗАТЕРЯННОЕ В ПЫЛИ ПРОШЛОГО”	422

Посвящается именам,
которые не встретишь
на монументах

УИЛЬЯМ
ДЕ РУАЙЕ-МАКМИЛЛАН,
ОН ЖЕ МАЙ ВЭЙЛИ,
ОН ЖЕ БИЛЛИ —
ТАКЖЕ ИЗВЕСТНЫЙ
ПОД ДРУГИМИ ИМЕНАМИ

Уменя бесчисленное множество имен и прозвищ. Едва ли не каждый раз, когда я оказывался в новой компании, меня называли как-то иначе.

В свидетельстве о рождении, выданном больницей “Добрый самаритянин” в Цинциннати, написано, что меня зовут Уильям Эдвард Себастьян де Руайе-Макмиллан. Вы, верно, уже заметили, что у меня два средних имени. Эдвардом меня нарекли в честь отца, а Себастьяном — в честь деда. Фамилия у меня составная, двойная, де Руайе — по матери, Макмиллан — по отцу. Мать происходила из знатного французского рода: Людовик “После меня хоть потоп” XV пожаловал ее предкам титул, правда, какой именно, мать и сама толком не могла объяснить. Ее семья уже подзабыла свои европейские корни, и, в сущности, китайским языком мать владела куда лучше, чем французским.

Полное имя послужило мне всего три раза: оно значится в свидетельстве о рождении, заявлении, с которым я поступил в медицинскую

школу Бостонского университета, и в свидетельстве о браке. Во всех остальных случаях люди обходились обращениями покороче. Когда мне было восемь, я стащил в лавке на углу пачку тростникового сахара, лавочник пожаловался моим родителям, после чего отец вызвал меня к своему письменному столу (я часто выслушивал нотации, стоя у стола), но даже тогда он крикнул всего лишь: “Уильям де Руайе-Макмиллан!” — и это уже говорило о том, что отец вне себя от злости. Я проверял: чтобы произнести мое имя целиком и не проглотить при этом ни единого слога, нужно хотя бы пару раз перевести в серединке дух.

Домочадцы, американские друзья и сокурсники звали меня Билли, одна только мать сокращала это имя до первой буквы — Би. Мне всегда казалось, что у матери, вынужденной ухаживать за больным мужем и растить пятерых детей, был талант математика, она ловко упрощала до корня множество житейских мелочей, запутанных и каверзных, как математические задачки.

Периодически к имени Билли добавлялись “приставки” или “уточнения”. Например, в средней школе я был Костлявым Билли. К тому времени я уже вымахал до пяти футов восьми дюймов и считался высоким ребенком, при этом весил я всего сто двадцать восемь фунтов. Мне страшно хотелось поправиться до ста пятидесяти фунтов, потому что это был минимальный вес, с которым брали в школьную баскетбольную команду, но в итоге я так и просидел до выпускного на скамье болельщиков, размахивая флажками и скандируя кричалки. Теперь, думаю, вы понимаете, почему я не пропустил почти ни одного матча на той худо-бедно выровненной баскетбольной площадке в Юэxu. А вы прозвали меня Баскетбольным Билли, чтобы не путать с моим тезкой, американским инструктором. Моя тогдашняя страсть к этому спорту объяснялась всего-навсего тем, что я исполнял свою юношескую мечту.

Когда мне было двадцать пять и я готовился отправиться в Китай, родители придумали мне китайское имя — Май Вэй-

ли (производное от Макмиллан Уильям). Я стал миссионером, “пастором Маем”, как говорили мои прихожане. В окрестных деревнях, правда, никто передо мной не расшаркивался. Те, кто подходил по средам за бесплатной кашей, называли меня “кашевым стариком”, хотя по американским меркам я был еще совсем молод. Те, кого я лечил, кому выдавал лекарства, в глаза величали меня господином Маем, а за глаза — “заморским лекарем”. Каша и лекарства интересовали местных куда больше, чем воскресные службы, но я не унывал и верил: познав Божью милость, они рано или поздно задумаются и о Божьем Слове. Я быстро понял, что в Китае Благой вести мало просто звучать, ей нужно ходить на двух ногах: одна нога — каша, а другая — лекарства. Да, школы тоже важны, но если каша и лекарства — это ноги, то школа — в лучшем случае костыль. Именно поэтому мне пришлось нанять шестерых носильщиков, чтобы управиться со всем своим багажом, когда я сошел с парохода в Шанхае. Одежда и книги занимали в нем меньше половины места, в основном чемоданы и корзины были набиты медицинскими инструментами и препаратами, которые я купил на пожертвования американцев.

Моих родителей, миссионеров-методистов, отправили в Китай на служение, они проповедовали в Чжэцзяне. Собственной церкви у них не имелось, они были “вольными певцами” Господа. Отец с матерью исходили почти всю провинцию — от востока до запада, от юга до севера. Проведенные на одном месте полгода в их понимании равнялись чуть ли не вечности. Скитальческий образ жизни привел к тому, что все четверо их детей умерли в младенчестве. Когда матери исполнилось тридцать лет, ее вдруг охватил неведомый прежде страх. Родители покорно терпели кровати с клопами и блохами, рисовую кашу, в которой плавали толстые жучки, дырявые крыши, заделанные кусками клеенки, отхожее место в виде выгребной ямы с двумя бамбуковыми жердями, но мысль о том, что они могут остаться бездетными, оказалась

для них невыносимой. В том же году, после бесчисленных терзаний и сомнений, они наконец подали прошение о возвращении на родину.

На второй год их жизни в Америке на свет появился я. В последующие семь лет мать родила еще двух сыновей и дочерей-близняшек. Преисполненные благодарности, к которой, быть может, примешивалась капля вина, родители отдали меня, старшего сына, церкви, подобно тому, как Авраам возложил на жертвенник Исаака. По правде говоря, мой миссионерский удел был предрешен еще в ту пору, когда я был в материнской утробе, — уже тогда я слышал зов Господень.

Но я не спешил. Я окончил медицинский, поработал стационарным врачом и лишь затем отправился в Китай. Все, что случилось позже, свидетельствует о мудрости принятого решения — или же его жестокости.

Родители провели в Китае двенадцать лет, и, даже вернувшись домой, они все равно каждый день говорили о своей китайской жизни. Мы, дети, выросли на их рассказах о том, как цзяннаньские* крестьяне замачивают золу, чтобы удобрять чай; как в прибрежных деревнях выходят на рыбалку с ручными цаплями; что едят китайки, когда восстанавливаются после родов; из чего в деревне варят кашу в неурожайный год... Поэтому, когда я, следуя родительскому примеру, прибыл в провинцию Чжэцзян — спустя двадцать шесть лет после того, как отец с матерью ее покинули — и увидел дорожку из каменных плит на воде, снующие по реке лодочки-сампаны, оседлавших буйвола ребяташек, поросшие белой камелией склоны, услышал резкий, похожий с непривычки на ругань цзяннаньский говор, я не испытал ни малейшего удивления. Я будто смотрел сон, который знал как свои пять пальцев, потому что он снился мне уже много-

* Цзяннань — историческая область в Китае к югу от реки Янцзы. —
Здесь и далее примеч. перев.

много лет. Казалось, я вдруг очутился не в нынешней, а в прошлой своей жизни.

Сегодня 15 августа 2015 года, с того дня, как мы условились о встрече, прошло ровно семьдесят лет. Что такое семьдесят лет? Для рабочей пчелы, которая собирает нектар, — пятьсот шестьдесят с лишним жизней; для буйвола, который тянет плуг, пожалуй, три жизни, если животное не забьют раньше срока; для человека — почти вся жизнь; для учебника по истории — пара-тройка абзацев.

Но для Божьего замысла семьдесят лет — всего лишь мгновение.

Я до сих пор отчетливо, вплоть до мельчайших подробностей, помню все, что произошло в этот день семьдесят лет назад. Новости пришли к нам из вашего лагеря. Радисты, отправлявшие в Чунцин гидрологические данные, первыми услышали по радио “трансляцию драгоценного голоса” японского императора. “Драгоценный голос” звучал хрипло и сбивчиво, речевые обороты, тон — все было архаичным и таким пышным, как будто смысл пробирался окольными путями. “Однако в сложившихся условиях Мы должны стерпеть нестерпимое, вынести невыносимое, дабы для грядущих поколений воцарился великий мир...” Вы даже не поняли толком, что это значит. Но за трансляцией последовало разъяснение, и оказалось, что эта речь — “Высочайший указ о прекращении войны”. Проще говоря, то был акт о капитуляции, пусть в нем и не нашлось самого слова “капитуляция”.

Безумство, как грипп, вспыхнуло в вашем лагере, и вы заразили им всю деревню Юэху. Вы порвали одеяла и зимнюю одежду на полосы, намотали их на палки, обмакнули палки в тунговое масло, подожгли, и среди деревьев тут и там замерцали факелы — издали казалось, что в горных лесах пылают пожары. Господь сжалился над вами: безумный день случился в разгар лета, и вы могли дурачиться вволю, не боясь, что ночью похолодает. Немного погода деревенские дружно высыпали из домов и прибежали на пустырь, где

у вас проводились учения. Обычно это место строго охраняли и не подпускали к нему посторонних. Но в тот день никто никого не гнал, в тот день не было посторонних — все были свои.

Вы запускали петарды, пили до дна, надрывали глотку, носились как сумасшедшие, каждого встречного ребенка сажали на плечо, каждому мужчине вручали американские сигареты. Будь ваша воля, вы бы целовали женщин. Вы, пожалуй, уже истосковались по запаху женской кожи и женских волос, но этот Майлз, ваш начальник из Чунцинского генштаба, держал вас в узде, и хоть вы порой давали себе поблажку, послушаться приказа в открытую никто не решался. Наутро, когда рассвело, жители Юэху обнаружили, что деревенские петухи и собаки манкируют своей обязанностью — возвещать рассвет: у всех накануне сел голос.

Тут я прервусь и скажу пару слов о Майлзе. Американец по имени Милтон Майлз был самым что ни на есть неудачником. Он мог войти в широкие ворота сухопутных войск и вместо Стилуэлла вписать славную страницу в историю войны на Дальнем Востоке, навеки связав свое имя с печальной судьбой доблестной экспедиционной армии и великой дорогой, названной в его честь. Но этого не произошло. Или он мог войти в широкие ворота военно-воздушных сил и вместо Шеннолта возглавить и поднять в небо “Летающих тигров”*, быть тем, на кого равнялся каждый парень и о ком мечтала во сне каждая женщина в Куньмине и Чунцине. Увы, этого тоже не произошло. Он выбрал тесные ворота военно-морских сил и на длинном китайском берегу, вдали от кораблей и подводных лодок, прямо за спиной у японцев, раскинул безмолвную сеть разведки.

Майлз и его подчиненные, то есть вы, смешались со здешними жителями, втайне изучая гидрометеорологическую об-

* Американское военно-воздушное подразделение, воевавшее на стороне Китая в 1941—1942 гг.

становку, собирая разведанные о побережье, тренируя пиратов и партизан и готовясь, совершенно напрасно, к намеченному морскому десанту американской армии. Время от времени майлзовские партизаны, отшагав сто с лишним ли* по горной тропе, подрывали рельсы, сжигали военный склад, нападали на японский отряд, застигая его врасплох. Но по сравнению с тем, что делали Стилуэлл и Шеннолт, партизанские вылазки были мелочью, все равно что досадная, но не смертельная заноза в спину, из-за которой японец пару ночей промается без сна. Дело в том, что в тот год в Вашингтоне начальник Майлза — за закрытыми дверями, понизив голос — отдал ему устный приказ, настолько секретный, что о нем не осталось ни единой записи. Поэтому Майлз провалился в щель истории, откуда его так никто и не вытащил. Прошло семьдесят лет, а он все наблюдает, как одно поколение почитателей Стилуэлла и Шеннолта сменяет другое, в то время как его собственное имя даже не упоминается в газетах. Упокой, Господи, его душу.

Но вернемся на семьдесят лет назад. В тот день веселье длилось до полуночи, а когда все разошлись, вам двоим — тебе, Иэну Фергюсону, технику по вооружению первого класса группы ВМС США в Китае, и тебе, Лю Чжаоху, китайскому подопечному тренировочного лагеря SACO** — показалось мало, вы тайком отправились ко мне домой. Иэн принес две бутылки шотландского виски, которые раздобыл несколькими днями ранее, когда отмахал семьдесят ли до интендантского управления, где выдавали почту. Мы втроем устроились на моей неказистой кухонке и напились в стельку. В тот день нам было не до дисциплины, в тот день сам Бог закрывал на многое глаза, в тот день прощалась любая провинность. Ты, Лю Чжаоху, заявил, что виски — худшее пойло

* Мера длины, около 0,5 км.

** “Организация американо-китайского специального технического сотрудничества” (англ. *Sino-American Special Technical Cooperative Organization*).

в мире, что оно воняет, как ссанные тараканы. Вонь, однако, не мешала тебе осушать один стакан за другим. И вот, уже изрядно набравшись, ты кое-что предложил.

Ты сказал: кто первый из нас умрет, после смерти пусть возвращается каждый год 15 августа в Юэху и ждет остальных. Когда все соберутся, мы снова хорошенько напьемся.

Мы тогда подумали, что это полная чушь — назначать встречу не “в будущем”, а “в будущей жизни”. Мы не знаем, когда настанет чужой смертный час, не знаем, когда придет наш собственный, для тех, кто жив, мир мертвых — непостижимая тайна. Теперь-то мы поняли, что ты был мудрее нас обоих. Ты уже догадывался, что вскоре после “трансляции драгоценного голоса” мы разойдемся в разные стороны и наши дороги, быть может, никогда больше не пересекутся. Живым не под силу подчинить жизнь своей воле, но у мертвых все совсем иначе. Душе неведомы оковы времени, пространства, непредвиденных обстоятельств, мир души не имеет границ. Путь через тысячи гор и рек, сквозь десятки, сотни лет займет у нее лишь одно мгновение.

Той ночью, пьянствуя, хлопая друг друга по ладоням, пожимая друг другу руки, мы со смехом приняли предложение Лю Чжаоху. Мы верили, что до нашей встречи еще далеко, мы дурачились. Война кончилась, мир вернул смерть на положенное ей место, отодвинул ее на приличное расстояние. Ведь даже мне, старшему из нас троих, было тогда всего тридцать девять лет.

Я понимал, что буду, вероятно, первым, кто исполнит обещание и явится в Юэху, но не представлял, что это случится так скоро — я умру через каких-то три месяца после нашего разговора.

Ко времени нашего знакомства я жил в Китае уже больше десяти лет. Я не хуже любого китайца умел выуживать палочками из супа лущеный арахис, ловко застегивал и расстегивал затейливые пуговицы из узелка и петельки на халате и почти без труда, пружинистым шагом, проходил несколько

ли по горной тропе, неся на коромысле наполовину полные ведра с водой. Я практически в совершенстве овладел здешним диалектом и даже мог в общих чертах переводить крестьянам, что чжэцзянские власти пишут в приказах. Я молился у постели пациентов, умиравших от холеры; болел сыпным тифом, которым меня наградила блоха, укусившая тифозную крысу; чуть не задохнулся дымом при пожаре; однажды трое суток сидел без еды; а когда приехал в Ханчжоу, город атаковали с воздуха и я едва успел спрятаться в укрытии. Ближе всего к смерти я оказался той ночью в дороге, когда напали бандиты. Хотя мы (я и моя жена Дженни) одевались совсем как китайцы, грабители углядели наши лица и поняли, что мы “чужеземцы”. Разумеется, они решили, что кошельки у иностранцев набиты потуже, чем у местных. Пригрозив ножом, они обыскали нас с головы до ног, но оказалось, что у нас нет ни гроша. Вскоре после той страшной ночи у Дженни случился выкидыш, и она умерла.

Но что бы со мной ни приключалось, Господь каждый раз находил для меня спасительную лазейку. Меня не убили ни война, ни голод, ни эпидемия, я погубил себя сам. Знания, которые я получил в Бостонском университете, помогли мне сохранить много жизней, пусть я и не смог сберечь жену. Только потом я осознал, что у тех жизней, которые мне удалось отвоевать, была своя цена, и эта цена — моя собственная жизнь: в конце концов, искусство врачевания и нанесло мне в спину смертельный удар.

Вскоре после нашей попойки вы двинулись в путь, в Шанхай и города провинции Цзянсу, чтобы помочь Национальному правительству сохранить порядок и принять японскую капитуляцию. Ну а я осенью поднялся на борт парохода “Джефферсон” и отправился домой, в Америку. Мать прислала письмо: отец тяжело болен и мечтает хоть на пороге смерти увидеть спустя долгие годы старшего сына, своего Исаака, которого он возложил на алтарь. В отличие от Иэна, мне, гражданскому, не нужно было дожидаться, пока меня включат

в приказ о демобилизации и возвращении на родину. Я без особого труда купил билет на океанский лайнер. И все равно я так и не смог повидаться с отцом — правда, умер не он, а я.

В Шанхае, до дня отплытия, я жил в доме одного миссионера, методиста, как и я сам. Его повар мучился от опасного фурункула на спине. Строго говоря, я мог ничего и не делать, огромный Шанхай — это не захолустная Юэху, вокруг сколько угодно больниц и клиник, всего-то и требуется, что заплатить за прием несколько медяков. Но мой скальпель протестовал и возмущенно позвякивал в чемодане, так что я в конце концов взялся за операцию. В тот день ланцет малость закапризничал, мы повздорили в первый и последний раз — он порезал мне сквозь перчатку указательный палец. Операция прошла успешно, повару сразу полегчало. Моя микроскопическая ранка почти не кровила и казалась вполне безобидной. Я наскоро ее обработал и на следующий день в положенное время сел на пароход.

Вечером ранка начала гноиться, палец распух до размеров китайской редьки. Я принял сульфаниламидные лекарства из своей аптечки, но они не подействовали. Я тогда не подозревал, что у меня аллергия на сульфаниламиды и что на Западе в ходу более эффективные антибиотики, — как-никак, те знания, которые я получил в университете, много лет не обновлялись. Мне становилось все хуже, гноя накопилось так много, что пришлось сцезивать его в кружку. Пароход шел в открытом море, до ближайшей гавани было несколько дней пути, и корабельный врач посоветовал мне немедленно отсечь палец. Я сомневался, не осознавая, насколько все плохо. Причина моих сомнений была проста: в будущем я никак не мог обойтись без указательного пальца. Перед тем как плыть в Америку, я уже придумал, чем займусь после возвращения в Китай — открою в одной деревне клинику с нехитрым операционным столом и больничной палатой, чтобы окрестные жители не бегали по сотне с лишним ли через горы до уездного центра всякий раз, как воспали-

лась рана или жене пришло время рожать. Я принял это решение не только из сочувствия к незавидному положению местных бедняков. На самом деле к благородным побуждениям примешивалась толика заботы о личных мелких интересах. Я старался и ради одного человека, ради китаянки, девушки, занявшей важное место в моем сердце.

Как оказалось потом, колебания стоили мне жизни. Через тридцать пять часов я умер от сепсиса. Моя смерть удостоилась всего двух записей, двух коротеньких строчек, одна — в судовом журнале “Джефферсона”, другая — в архивах Методистской церкви. Я слышал, что до меня канадец Норман Бетьюн точно так же скончался от заражения, поранив палец во время операции, правда, после смерти нас с ним ждали абсолютно разные участи. Он умер в подходящее время в подходящем месте, прославился как “отдавший жизнь во имя долга” герой, и с тех пор его имя не сходит со страниц китайских учебников. А моя смерть затерялась на фоне громких новостей: Нюрнбергского процесса, Токийского процесса, гражданской войны в Китае, стала пустячком, ничтожно мелким, как соринка, событием.

Так миссионер, возлагавший радужные надежды на мирную жизнь, превратился в призрак, который скитается между двумя материками. Но я вовсе не забыл о нашем обещании — каждый год 15 августа я возвращался в Юэху и спокойно, терпеливо поджидал вас.

Сегодня я вернулся в семидесятый раз.

За эти годы деревня Юэху не единожды меняла название, переходила от одного административного района к другому, ее границы, как рубежи некоторых стран Европы в период войны, то и дело сдвигались. Но для мертвого время застыло в одной точке, перемены его не касаются, Юэху для него вечна.

В нынешней Юэху уже трудно отыскать следы прошлого. Достроенная при мне церковь стала сперва штабом производственной бригады, затем амбаром, еще позже — начальной

школой. Каждый раз, как менялось ее назначение, стены покрывали новой росписью, а ворота перекрашивали. Баскетбольную площадку и учебный плац, которые вы когда-то выравнивали, густо застроили жилыми домами. Общежития американских инструкторов сровняли с землей, дважды снесли сменившие их здания, и теперь на том месте рынок сухофруктов и магазины со всякой мелочевкой. Сохранилось лишь общежитие китайских курсантов, перед которым стоялся тот самый вошедший в историю бой Лю Чжаоху. Впрочем, только фасад остался почти таким, как раньше, внутри дом поделен на множество комнат-клетушек и выглядит совершенно иначе.

К счастью, еще не перевелись люди, которых интересуют дела прошлого, — несколько лет назад кто-то поставил перед входом во двор каменную стелу. Ее как только ни используют: на ней сушат детские пеленки, раскладывают связки свежесобранных побегов бамбука, расклеивают листки с рекламой лечения триппера и сифилиса. Как бы то ни было, хорошо, что она есть, без нее я, наверно, заплутал бы в этом мозаичном лабиринте многоэтажек.

Здесь я одиноко ждал вас, ждал год за годом. Вы все не появлялись, и это означало, что вы еще живете в каких-то уголках земного шара. Я не допускал и мысли о том, что вы нарушите слово, ведь вы люди военные, а военный человек знает, что такое обещание.

Я прождал впустую семнадцать лет, а когда я шагнул на эту землю в восемнадцатый раз, то встретил Лю Чжаоху. Если я ничего не путаю, в тот год тебе, Лю Чжаоху, исполнилось тридцать восемь, я же навечно остался тридцатидевятилетним. Мир призраков перевернул законы мира живых: в том мире я был старше тебя на девятнадцать лет, а тут ты младше меня всего на год. Смерть сократила расстояние между нами.

Ты узнал меня сразу — смерть навсегда оставила меня в том облике, в котором я был при нашем расставании, — а вот я никак не мог сообразить, кто передо мной, пока ты не

выкрикнул мое имя. Ты заметно съезжился и отощал. Конечно, ты был худым еще тогда, когда присоединился к тренировочному лагерю. Все до одного китайские курсанты гремели костями, американским инструкторам даже не верилось, что вы способны воевать с оружием наперевес. Вскоре они поняли, что поторопились с выводами... но об этом позже. В то время ты был ничуть не тщедушнее других.

Но когда мы вновь встретились, я подумал, что назвать тебя “худым” значило бы сильно приукрасить действительность. Ты не просто исхудал, ты стал ходячим скелетом, кожа обтягивала кости так плотно, что я почти разглядел их цвет и текстуру. Ты практически облысел, остались лишь редкие волоски, которые не прикрывали голову. Твоя кожа нездорово посерела, но ты выглядел опрятно, словно тот, кто проводил тебя в последний путь, тщательно тебя обмыл. В общем-то самая разительная перемена заключалась не в росте, не в весе и даже не в волосах, а во взгляде. Огонь, который сверкал в нем, когда я впервые тебя увидел, потух, и глаза-ямы зияли пустотой.

Я до сих пор отчетливо помню, каким ты был, когда проходил вступительные испытания. Тренировочный лагерь SACO в Юэху только-только открылся. Несколько местных построек из дерева и кирпича, тех, что попрочнее, приспособили под общежития для инструкторов и курсантов, земельные участки разровняли и сделали из них учебный плац, стрельбище и спортивную площадку — вот, собственно, и все “открытие”. Юэху выбрали потому, что она пряталась среди гор, вдали от японцев и морского берега, и вероятность вражеской атаки с воздуха или суши была сравнительно мала. К тому же деревня, хоть и находилась в глуши, была все-таки не слишком далеко. От оккупированных территорий и выхода к морю Юэху отделяла сотня-другая километров — расстояние, которое можно преодолеть на своих двоих.

Американские инструкторы вскоре обнаружили, что у китайских курсантов, при всей их чахлости, крепкие, сильные

ноги. О том, что на самом деле означает китайское слово *бусин* — “ходьба”, американцам поведали не словари, а здешние марш-броски. При необходимости можно было, проделав путь от Юэху пешком, вогнать в спину японцам парутройку колючек, таких, что не вытащишь, а затем скрыться без потерь. В конце концов, главной задачей тренировочного лагеря было не участие в боях: его создали, чтобы собирать разведданные, подрывать моральный дух противника, заставлять японцев ежеминутно дрожать от страха.

В лагере уже был свой переводчик-китаец. Майлз в далеком Чунцине еще не уяснил: хотя огромный Китай признает лишь один официальный язык, в стране три тысячи девятьсот девяносто девять диалектов, и особенно это заметно на юге, где даже крестьяне из соседних деревень подчас не понимают друг друга. Курсантов для удобства общения набирали из жителей окрестных поселений. А переводчик, которого прислал Чунцин, оказался гуандунцем, и единственным человеком, способным разобрать его речь, был он сам. От безысходности американские инструкторы попросили меня о помощи — я был известным на всю округу китаеведом. Так мы с вами в тот день и познакомились.

Тебе, Лю Чжаоху, пришлось, видимо, долго бежать: рубашка на спине покрылась соляными разводами, капли пота одна за другой скатывались на брови. Тяжело дыша, ты сжимал в руке сорванное объявление о наборе в лагерь. Китаец, который проводил вступительные испытания, заметил, мол, объявление не для тебя одного вешали, зачем ты его оторвал? Ты хотел улыбнуться, но твое лицо сковало напряжение, ни одна улыбка не смогла бы пробить такую броню, поэтому ты лишь прочистил горло и выдохнул: “Торопился”. В тот день ты был немногословен, да и потом помалкивал, твой рот все равно что шлюз, чьи створы чаще закрыты, чем открыты.

Тебе дали бланк регистрации, чтобы ты внес свое имя. Ты написал иероглиф “Яо”, тут же его зачеркнул и исправил на “Лю Чжаоху”. Это имя показалось мне смутно знакомым,